

Весь К. Бальмонт

В странах Солнца

Письма к частному лицу из кругосветного путешествия

31 января 1905. Приближаясь к Корунье... Я чувствую, начинаю чувствовать чары Океана. Сегодня большие рыбы, обрадованные волнением от нашего корабля, устроили погоню-пляску: ритмически выбрасывались из моря, гнались за нами как дельфины, и снова уходили в глубину. Вчера перед ночью туман встал как горная цепь. Такой облачной горы я никогда не видал. Сейчас из волн светят фосфорические огни. Широкий шум волн освобождает душу. Скорей бы совсем он открылся, безмерный простор Океана. Я жду.

7 февраля. Я не пишу ничего о том, какие минуты, часы, и целые дни провел я, думая о другом: о том, что сейчас в России. Я не могу об этом говорить. Но, если вспомнить мои слова, я предсказывал в точности, — еще во времена Эрмитажного банкета, — то, что действительно случилось через 1 1/2 месяца, и прошло унижением и ужасом по всей России. И хотя Брюсов

воскликнул: «Мы — пророки, ты — поэт», — и хотя разглагольствующие барашки, мнящие себя тиграми, не видели и не слышали меня, — я оказался до мучительности точно предвидящим. Хотя все же, это еще превзошло мои ожидания. Да, при всей черной мнительности, такого позора и такого унижительного ужаса нельзя было ждать. — Перед отъездом из Коруньи, где я был счастлив, я прочел в испанских газетах, что Горький приговорен к повышению. У меня потемнело в глазах. В эту ночь я как будто потерял рассудок. Как в Берлине, когда я прочел о расстрелянии беззащитных рабочих. Быть может это сказка? С тех пор я отрезан от Европы и не узнаю ничего до приезда в Кубу. Но я не хочу, не могу об этом ни думать, ни говорить. Что я чувствую — знает, кто знает меня...

Узнать Мексику, и всей душой на месяцы уйти в погасшие века, полные тайн, я хочу. — Я был счастлив несколько часов в Корунье. Это типичный испанский город, гавань в Галисии. Во мне испанская душа. Я обошел весь город из конца в конец, заходил в жалкую церквульку, обедал в каком-то Cafe Oriental, заходил в разные магазины, и мне все было радостно, как родное, и с каждым я говорил с наслаждением. Испанцы — искренние дети.

9 февраля. Третьего дня мне помешали кончить о Корунье, а вчера была буря, наш корабль был скорлупкой, маленькими морскими качелями. И сейчас все пляшет кругом. Мое сердце радуется, но писать не слишком удобно. — Да, Корунья, Корунья! Тут я понял опять, что есть Солнце и радость. Я шел по набережной, залитой светом. Я вошел в сад. На островке водоема, на открытом и для воздуха и дня и ночи маленьком островке, цвели роскошные арумы, белые чаши с золотым расцветом внутри. Цвели кусты камелий, деревца с цветками полевых ромашек, глицинии, или цветки похожие на глицинии, много других цветов на стеблях и цветущих кустарников. На грозде желтоватых пахучих цветков, названия которых я не знаю, я увидел пчелу. Если бы я увидел Шелли, я так же бы обрадовался. Это было свидание! И пестрая цветочная муха, совсем как те, которых я любил в детстве, прилетала и улетала и садилась все на том же цветке. Я знаю нрав этих пестрых мух, с детских дней. И мне казалось, что и лица испанок, которые мелькали кругом, тоже дороги и знакомы мне с давних-давних пор. Испанские слова поют в моей душе. Мне в каждом испанце чудится брат этих бесчисленных призраков, созданных фантазией Кальдерона и Сервантеса, и созданных всей историей этой горячей, смело-чувственной, правдивой, воистину не лживой страны. — Эти

несколько часов, которые я провел в испанском городе, возбудили во мне такое желание быть в Испании, что я готов был опоздать на пароход. Конечно, это было лишь завлечение увлеченности. Но, правда, я приехал на пароход последним. По теплому Морю, под яркими звездами, я плыл в ладье, и слушал плеск весел. До сих пор только это и было воистину красиво. И еще этот сделавшийся бурным Океан. Лишь вчера я увидел неожиданный новый простор Океана. Волны, куда ни бросишь взгляда, такие волны, что они кажутся зарождающимися вершинами несчетных горных цепей.

10 февраля. Океан. Сегодня новая Луна и новый Океан. Зеленоватый полумесяц взволновал равнины вод. Они дышат мерно и как будто этим взволнованным, но мерным ритмическим дыханием возносят нас к Небу. Морских звезд больше не видно. Но мы много ночей плыли среди этих странных, то более крупных, то менее крупных, морских сияний. Звезды Неба давно уже изменили свой вид. Созвездье Ориона победительно-ярко и четко. Узор Большой Медведицы все время опрокинут, рукояткой чаши перпендикулярно к горизонту, и даже под тупым углом. Не могу передать, какое странное впечатление производит на меня этот опрокинутый лик созвездия, к

которому глаз привык в другом сочетании с детства. Но все же до сих пор я не чувствовал Океана... Мешают люди, чудовищные маски отвратительных людей, и эта прикованность к кораблю, от которого нельзя уйти. Я никогда от качки не страдаю. Напротив, она приятна мне. Чувствуешь, что действительно, это — Море. Но нет чар Океана, или их слишком мало. Хорошо было утро третьего дня, когда быстрая вуаль дождя бежала по минутным утесам волн. Это было, правда, мистически прекрасно. Мы в полосе теплого течения. Стало душно даже на палубе. Сегодня воздух был совсем как у нас летом перед грозой. Скоро увижу новое. Через четыре дня — Куба. Мир мал. Только-то? — шепчет мечта...

Русские — самый благородный и деликатный народ, который существует. Нужно отойти от России, и тогда поймешь, как бездонно ее любишь, и как очаровательно добродушие русских, их уступчивость, мягкость, отсутствие этой деревянности немцев, этой металличности англичан, этой лакейской юркости французов. Одни испанцы мне милы. Но и в них утомительна повторность все тех же возгласов и быстрых кастаньет. Но испанцы мне милы, милы...

11 февраля. Сегодня Луна окончательно завладела пространством. Этот дымный,

опрокинутый, зеленоватый полумесяц зачаровал воды, он изменил самый их ропот, сделал его более шелестящим, ласкающим, как будто наполнил эти легкие плески неуловимыми голосами далеких воспоминаний. Мне чудится теплый юг, широкое кружево прилива на ровном и чистом песке, редкие звезды в глубоком Небе, тишина перерывов между ритмами приливных гармонических шумов. Так легко и воздушно, призрачно в душе. Не трогает, не касается ее ничто темное. Перед ночью закат разбросал небывало-воздушные краски. На Севере возникли как будто японские горы. Идеальность тонов. Закатные краски, как безмерные крылья, простерли направо и налево от корабля свою красочную стремительность. На нижней палубе, где в полутьме столпились сотни испанских эмигрантов, незримый музыкант играл без конца на рожке, как русский пастух поутру на заре. Я был на Океане и был далеко.

21 февраля. Вера-Крус... Я попал в вертящееся колесо. Я был в сплошной движущейся панораме. Минуты истинного счастья новизны сменялись часами такой тоски и такого ужаса, каких я кажется еще не знал. Ведь я до сих пор не знаю, что делается в России. В Москве кровавый дым...

Я опишу подробно свои последние

впечатления от Океана, очаровательной экзотической Гаваны, и заштатной смешной Вера-Крус, — когда приеду в Мексико; я уезжаю сегодня вечером. Корабль наш запоздал в пути на день, благодаря буре. В Гаване я видел цветы, цветочки родные, маленькие, и пышные розы. Мне хотелось упасть на землю и целовать ее. Здешняя зима — наше теплое лето. Временами изнемогаешь от жары. Впечатления подавляют. Все кишит, спешит, кричит, хохочет. Приходится спасаться в свою замкнутую комнату. Благодетельная природа посылает иногда мертвую спячку, чтобы мозг не закружился окончательно. Я видел птичку-бабочку (motiposa), но еще не видел птички-мушки. Приготовился увидеть в Мексико ошеломляющий калейдоскоп. Буду глядеть на бурные волны — с берега...

А! Зачем я уехал, зачем, зачем...

Я люблю Россию и русских. О, мы, русские, не ценим себя. Мы не знаем, как мы снисходительны, терпеливы, и деликатны. Я верю в Россию, я верю в самое светлое ее будущее. О том как я принял весть о последних событиях в Москве, не в силах говорить...

Сегодня Солнце особенно ярко. Через несколько часов — переход в истинную Мексику.

3 марта... В Вера-Крус я сразу попал в

сказку, когда пошел завтракать на солнечной улице, около пальм, а передо мной коршуны гуляли стаей, точно ручные, и пожирали какие-то неприемлемости, которые угрюмый мексиканец, под звон колокольчика, собирал в свою грубообразную повозку. Эти черные коршуны — спасители города, они с красивой жадностью уничтожают то, что должно перестать существовать, — как у парсов они пожирают трупы. Когда рассказываешь, это безобразно. Когда смотришь, это необыкновенно красиво. Взмахи черно-серых крыльев, клекот, хищные стройные видения. Море с берега, нежно-манящее. Красивые рыбы. Старый, до потешности заплатанный город. Он такой же почти, как был при Кортесе. Печать исторических воспоминаний, экзотические лица и одежды, шляпы похожие на колпак средневекового звездочета, всадники, объезжающие город, смуглые старики и старухи, достойные кисти Гойи, горячее Солнце, горячие взгляды, удивляющиеся и смеющиеся с дикарской наивностью. Глаза мексиканцев прикасаются, когда глядят. Предки этих людей были пьяны от Солнца, и вот у них осталось в зрачках воспоминание о празднествах лучей и крови, и они все еще дивятся, вспоминают, — увидят чужое, и словно сравнивают со своим, глядят на мир как на сон, во сне живут, во сне, их обманувшем. У людей здешнего народа

нужная интонация. Они погибли оттого, что были утонченники...

4 марта... Я вернулся сейчас из Национальной Библиотеки, куда неукоснительно хожу каждый день. В огромной высокой зале таких прилежных читателей немного. Мексиканцы не книжники. Число посетителей — от двадцати до трех-четырёх. Фантазия, не правда ли? Другая фантазия еще чудеснее: за окнами слышен громкий крик петухов, а над читателем воркуют и летают голуби, которые тут же в библиотечном зале выводят птенцов. Какие-то барышни стучат на пишущей машине. Читатели курят, не боясь поджога. Говорят вслух. Некий юноша зубрит вдохновенно, не щадя слуха чужого, он пьян анатомией; в руках у него огромная кость, он раскачивает ее, прижимает к сердцу, скандирует научные фразы. Не знаешь, студент ли это медицины или особая разновидность шамана. Библиотекари изумлены на умственную жадность русского и кажется считают меня несколько свихнувшимся. Я читаю древнюю книгу Тольтеков «Popol Vuh», космогония и легендарная летопись, смесь ребячества и гениальности...

Все время пока я был на Океане, я читал замечательную книгу Прескотта «History of the conquest of Mexico». Это красочная сказка, правда о

Кортесе и о древних мексиканцах. Безумная сказка. Народ, завоеванный гением, женщиной, конем, и предсказанием. Эта формула — моя, и я напишу книгу на эту тему. У Прескотта фразы как будто из моего словаря, или как будто я у него заимствовал. Но ведь я его не читал до этого путешествия. Между Кортесом и мной такое сходство характера, что мне было мистически странно читать некоторые страницы, рисующие его. Пока ты не прочтешь этой книги, ты можешь думать, что мои слова — причуда поэта или даже просто бред. Это один из странных моих предков. Мне кажется не случайной теперь моя давнишняя любовь к Вилье-де-Лиль-Адаму, грезившему о зарытых сокровищах, — не случайно ли то, что я давно-давно с особым чувством полюбил его слова: «Je porte dans mon ame le reflet des richesses steriles d'un grand nombre de rois oublies»...

5 марта. Воскресенье. Бешеный праздник. Обрывки карнавала. Я еду сейчас в окрестности Мексико, в прекрасный, древний, цветущий Чепультенек смотреть на бой быков.

Вечер. Какое страдание! Я окончательно не переношу более грубых зрелищ, которые когда-то нравились мне. Бой быков, особенно здесь, где нет испанской роскоши в обстановке, есть гнусная,

ужасающая бойня. Быки были на редкость сильны и свирепы, а тореадоры до отвратительности неловки и трусливы. У меня как будто помутился рассудок от вида крови и трупов. По случайности я сидел притом во 2-м ряду внизу, т.-е. в нескольких аршинах от арены, и я в первый раз видел все так близко. Два быка перескочили через барьер. Это могло иметь определенные последствия для любого из 1-го и 2-го ряда, но все обошлось благополучно. Эти секунды только и были хороши, да еще несколько секунд, когда бык дважды чуть не поднял на рога убегающих клоунов этого мерзкого зрелища, спасшихся в последний крайний миг. Я искренно желал смерти кому-либо из этих отверженцев, и бык казался мне, как весной в Мадриде, благородным животным, умирающим с достоинством. Человечи отвратительны. Публика, хохочущая на умирающих лошадей, — жестокий кошмар. Я был в аду. Я болен. Мне невыносим вид людей...

7 марта. Мексико — противный, неинтересный город. Испанцы уничтожили все своеобразное и бесчестно европеизировали этот некогда славный Теноктитлан. Жизнь дороже, чем я рассчитывал и все плохо. Низкое обирательство. Масса европейцев, приехавших и приезжающих сюда для наживы. Единственно, что интересно, это

лица «индийцев», т.-е. туземцев (между прочим множество сходных черт с русскими, арийцами и нашими кавказскими горцами), разнообразие типов мексиканских, морельских, отомитских, предместья, куда сюртуки не заходят, «Museo Nacional» с обломками скульптурных богатств, созданных гениальной фантазией древних майев и мексиканцев, и варварски уничтоженных мерзостными христианами. Окрестности мексиканской столицы очень интересны, и я почти каждый день езжу то туда, то сюда, на электричке. Хороши профили снежных вершин, потухших вулканов Икстакцигуатль (Малинче) и Попокатепетль. На Попокатепетль через две недели я совершу восхождение. Прекрасен роскошный парк-лес в древней летней резиденции Ацтекских царей, Чапультенеке, с вековыми агуэгуэтами и осоками в два человеческие роста. Там есть дерево Монтезумы, таинственного царя-жреца, предавшего свою родину белоликим разбойникам. Хороши агавы Такубайи, сады древнего селения Тольтеков, Койоакан. Хороши по ночам измененные узоры созвездий. В полночь я выхожу на свой балкон и гляжу на опрокинутую Большую Медведицу, она как раз глядит в мое окно. Мой детский рисунок очень плох, но он даст представление о сочетании звезд. Мы теперь действительно антиподы. Но как мало, как мало всего этого. Мир осквернен

европейцами. Европейцы бессовестные варвары. Их символ — тюрьма, магазин и трактиры с биллиардом, сюртук и газетная философия. Я бы хотел уехать на остров Яву, где царство смертоносных гигантских растений, цветочная свита Царицы-Смерти. Пока я в плоскости со скудными оазисами...

7 марта... Повторяю, окрестности — настоящая Мексика. Вот и сейчас я был в Viga и в Их-tascalco, я ехал снова по каналам, среди праздновавших карнавал *indios*, было так странно видеть ацтекских девушек, в венках из маков, говорить со смуглым человеком, который передвигал плоскую лодку длинным шестом и глядел с затаенной многовековой печалью. Вдали виднелись снежные вершины Икстакцигуатль и Попокатепетль. Я плыл потом по узкому каналу среди *chinampas*, — квадратные пространства земли, засаженные маками и обрамленные высокими мексиканскими ивами, похожими на наши пирамидальные тополя. Есть лица здесь, у шалашей, с безумным гипнозом в черных глазах. Эти взоры смотрят в прошлое, в сказку. Наступали быстрые сумерки. И грусть воздушная вошла в душу, красивая, как воздушные краски отсветов заката.

9 марта. Здесь еще *здешняя* зима. Она сказывается в том, что цветов меньше обыкновенного, нет птиц, облачно, по вечерам свежо. Но я конечно хожу всегда без пальто, окна всегда открыты, Солнце светит, цветут «пылающий куст» (дерево с красно-лиловыми цветами, которое распространено, между прочим, в Египте), «красочник» (colorin), дерево без листьев, с сочными, ярко-красными цветами, каштаны, хмель, лимонные деревья, магнолии, ирисы, розы, маргаритки, незабудки, маки, маки, маки, желтые и белые ромашки, анютины глазки, еще какие-то синие и белые и лиловые цветки. Не думай, однако, что я окружен цветами. Их больше на рынке цветов, чем так просто. В Чапультепеке их много в парке — в лесу. Там и зверьки землеройные бегают — точно в детстве читаешь Брэма. Арумы белые растут в канавах. Кое-где краснеют цветы кактусов на хищных уродливых своих деревьях, на которых орлу можно сесть со змеею в клюве.

Через неделю начнется весна, расцвет, прилетят ласточки. На вулканах начнут таять снега.

22 марта... Та Мексика, которую я пока видел, до мучительности та же Европа, кое в чем лучше ее, в большей части неизмеримо ниже. Оскверненная людьми, забытая сказка великого прошлого. Обезобразенная подлыми людьми,

великая, но измененная Природа.

23 марта... Мне говорят, что русские волнения не для меня. К сожалению, я слишком русский, и мне все время грезится Россия. Я не хотел бы сейчас быть там, пока в воздухе ужас кровавой бани. Но мне в то же время невыносимо тяжелы русские несчастья и русские унижения. Я думал, что я буду способен всецело отдаться Древности. Нет, периодами я погружаюсь в чтение и созерцание, но вдруг снова боль, снова тоска. Мы, русские, проходим через такую школу, какая немногим выпадала на долю...

Мексиканцы не интересуются своим прошлым. Я говорю о буржуазии. Простые *indios*, наоборот, постоянно посещают галереи Национального музея, хотя бродят там беспомощно. Трогательно видеть эти бронзовые и оливковые лица, возникающие перед изваянием Бога Цветов, или Бога-Зеркальность (Бог с Лучезарным Лицом). В душе возникает электрическая искра незабвенной исторической действительности. Трогательно говорить с простым ацтеком о красоте цветов мака, о благородстве Гватемока, который молча снес пытки и не сказал Кортесу, где зарыты национальные сокровища. Трогательно видеть, как ласковы, нежны здесь жены с мужьями и влюбленные с любовницами,

идут ли они трезвые, или, чаще, бредут, пошатываясь, в убогих кварталах, около кантин, носящих названия: «Illusion», «Emociones», «Infierno», «Jardin del Diablo», где потомки людей, мысливших красочными иероглифами, пьют убогую, мерзостную пульке (перебродивший сок агав). Indios живописны в своем унижении и в своих лохмотьях. Но видеть здешнюю буржуазию, когда она в театре, в ресторане, в цирке, на улице, мерзко и тяжело. Это жалкое подражание Европе, отвратительность третьеразрядных движений, тупость сытых, грубо-чувственных лиц, глупые улыбки, наглый смех.

6 апреля 1905. — Я был в Куэрнаваке и оттуда верхом ездил к руинам древней твердыни и храма Ацтеков, Ксочикалько, к вечеру вернулся в Куэрнаваку и таким образом сделал в один день экскурсию в семьдесят верст. Я должен был ехать в Куэрнаваку в воскресенье. Сегодня четверг, но опоздал на поезд на пять минут. Чтобы не возвращаться домой, поехал в какую-то неведомую Пачуку, захолустный город с минами. Смотреть там, как оказалось, нечего, но судьба благоволила. Я попал на народный праздник, и перед моими глазами прошли сотни и сотни, тысячи смуглых бронзовых индейцев, в огромных соломенных шляпах и живописных лохмотьях (они все ходят

задрапировавшись полосатыми красными одеялами, как испанскими плащами). Играла военная потешная музыка, гудели колокола, трещали ракеты, солнце жгло, было весело.

На другой день я поехал в Куэрнаваку. Дорога идет среди гор, над роскошными долинами, величественными как Океан, — леса, пропасти, синие дали, цветы, цветущие деревья, озерные зеркальности. Во многих местах я вспоминал Военно-Грузинскую дорогу. Куэр-навака — живописный город, сюда съезжаются отдыхать. В отеле La Bella Vista, где я остановился, была масса цветов, «огненные кусты», и красные лилии и розы, цветные стекла радостно играли под солнцем, а из окна моей комнаты я видел венчание снегом громады вулканов, Икстаксигуатль и Попокатепетль. Ночью я долго смотрел на опрокинутый узор Большой Медведицы. На следующий день мне подали верховую лошадь...

...Несколько раз мне было жутко, когда приходилось спускаться по скатам, имевшим вид чуть не вертикальной стены, так что нужно было совсем откидываться в седле, дабы не соскользнуть. Проводник, мексиканский мальчишка, лет семнадцати, с которым я все время болтал по испански, сбился с дороги и мы блуждали по горам. Это было к моей выгоде: он против воли показал мне прекраснейшие стремнины, на дне которых

бежали горные ручьи, местами образуя водопады. Пути почти не было. Камни и камни. Спуски и подъемы. Солнце жгло. Время от времени жажда заставляла прильнуть к горному ручью и пить. У руин я пробыл несколько часов и другим путем вернулся домой, усталый, при свете звезд и любясь на феерию бесчисленных светляков, точно это был сказочный бал фей и гномов, вдоль придорожных ручьев и канав, засаженных развесистыми деревьями.

7 апреля. — Я ничего еще не сказал о самых руинах. Развалины Ксочикалько принадлежат к числу самых красивых и величественных созданий скульптурного и архитектурного гения ацтеков. Пирамидное построение, находящееся на вершине горы, среди других горных вершин, вздымающихся кругом, представляют теперь лишь обломки, но рельефы основания со всех 4-х сторон видны, и на одной стене хорошо сохранилась каменная легенда: оперенный змей, похожий на китайских и японских драконов, величественный и страшный, обнимающий своими извивами пол-стены, и затем, в обратном порядке, симметрично повторяющийся на другой половине, — фигура воителя обращена к его пасти лицом, перед воителем дымоподобный каменный узор, это означает «цветистую речь», песнь или молитву. Легенда повторяется с новыми

сочетаниями и фигурами, на других стенах. Она рассказывает о четырех великих эпохах мира, связанных с четырьмя мировыми гибелями, которые предшествовали нашей земной жизни и основанию знаменитой Тулы (иначе Толлан, «Крайняя вуле» Эдгара По, и всех средневековых мистиков и мореплавателей, не знавших, что Тула была не на севере Европы, а в пределах погибшей Атлантиды). Четыре мировые бича, и создатели: Огонь небесный (Солнце и Молния), Огонь земной (Вулкан), Воздух (Ураган), Вода (Потоп).

Четыре бича, губящие жизнь, могли бы быть лучше изображены, чем в виде змеев, которые грызут, и давят, и жалят, и удушают? Но они же, извивами, обнимают, как защитой сводов, тех, к кому обращена эта страшная пасть. Через катастрофу, мы приходим к возрождению. Мы тесно слиты с губительными силами Космоса, и через это слиянье, лишь через него, можем стать смелыми воителями, глядящими Смерти прямо в глаза, можем стать певцами, поэтами, красиво поющими благоговейный стих. Так понимаю эти изваяния я. Ученые люди, которых я читал, лишь фотографически описывают эти руины, не пытаясь изъяснить их символа, и лишь упоминая, что вероятно, они означают четыре мировые «катаклизмы».

Меня невыразимо мучают известия из России,

которые появляются здесь в Мексиканских, Английских и Французских газетах. Какая убогая смешанность понятий, чувств, старого и нового, умершего, доживающего и неродившегося!

И я — русский, и я — не женщина, а мужчина, и я — за тысячи верст от этого мучительного кипения! Я не могу примириться с мыслью о нашем беспримерном поражении на Востоке и с этими унижительными толками о необходимости мира...

Тоска! Я чувствую в воздухе новые бури кровопролитий.

Ну, ладно. Подождем, подождем. Победит все же, и внутри и вне, светлый лик Бальдера, а не злобный Локи.

8 апреля. — Я ничего не сказал о другой поездке из Куэрнаваки, в селение San Anton, около которого есть водопад, довольно впрочем жалконький, вроде нашего Учан-Су. Здесь на камне я впервые увидел греющуюся под солнцем игуану, а через какие-нибудь полчаса, в саду одного из туземцев увидел великолепное, знаменитое изваяние игуаны. Огромная, она как живая, прилипала к камню, точь-в-точь как та, которую я только что видел. Древние жители Мексики умели изображать животных так же хорошо, как это умеют делать японцы, и также искусно их

стили-зировали. — Мне было жаль уезжать из очаровательной Куэрнаваки, которую недаром избрали своим дачным местопребыванием ацтекские цари, а позднее их, Кортес. Я заходил в заброшенный дворец Кортеса; был вечер, светили звезды, я ходил взад и вперед по веранде, где он не раз проникся и гордыми и горькими мыслями, смотря на далекие громады вулканов.

Frontera, 26 апреля. — Вот уже две недели как я в сказке, в непрерывном потоке впечатлений. За все это время я в точности *не мог* писать, и послал лишь открытку перед отъездом из Веракрус. Я воистину путешествую теперь по древней тропической стране, и впечатления так быстро сменяются, что мне трудно отдать себе в них отчет, трудно даже припомнить по порядку все, что я видел за эти две недели.

Солнце истомно греет и жжет. За окном поют цикады. Пальмы и другие тропические растения блестят под лучами. На крыше, перед окном, сидит коршун.

Я не могу уехать отсюда раньше половины или конца июня. Лишь в июне начинается сезон дождей, и тогда впервые Мексика предстанет в полном роскошестве изумрудных и цветочных уборов.

Теперь она, в подавляющем большинстве

мест, выжженная пустыня, ее господствующий цвет — цвет волчьей шкуры. Я хочу непременно увидеть ее в изумрудах, и услышать раскаты тропических гроз.

Как счастлива бы М. была, если бы она была в Мексике! Какое здесь торжество красок, красного цвета всех оттенков, и аметистов, и неопикуемых дрожаний закатного неба в морской воде. Я поражен, что художники не ездят сюда, чтобы создать ошеломляющий концерт карандаша и кисти.

— Завтра опять уезжаю, в Монтекросто, по реке Усумасинто, и оттуда, верхом, в Паленке. Опять несколько дней буду в непрерывном потоке впечатлений, потом, вернувшись во Фронтеру на один день, уеду в Мериду, столицу Майев, где вероятно изнемогу от жары, ибо уже здесь в тени 35о, а там еще теплее.

«Что такое птичка-бабочка?» — спрашивает Ниника. Колибри, *chupamirtos*, как ее зовут здесь, и *chuparosas* (лакомка мирт, лакомка роз), ускользает от меня. Колибри, как здешние цветы, ждут дождей, летних гроз, чтобы явиться в полной своей красоте. До сих пор я видел, живую, лишь одну колибри, в San Felipe de Agna, в окрестностях Оахаки. Я был в саду, и колибри начала трепетать воздушными крылышками около ветвей кипариса. Это продолжалось лишь несколько секунд, но я не

забуду никогда этого трепетанья как бы призрачных маленьких крыльев. Мне одновременно припомнилось трепетанье наших стрекоз, «коромысло, коромысло, с легкими крылами», и летучих рыбок, так проворно перелетавших от большой волны к другой далекой волне, когда я плыл в одно солнечное утро по Атлантике. Колибри зовут здесь лакомками мирт и роз, потому что они едят цветочную сладость, сосут ее (chupar), как пчелы и бабочки. В Паленке, в лесах, я увижу много этих фейных созданий.

Пуэбла — первый город, куда я приехал из Мехико, самый неинтересный из всех, которые я видел до сих пор. В нем множество, довольно жалких, католических церквей, — не соблазнительно. Но зато в его окрестностях находится знаменитая пирамида Чолула, в основании своем вдвое большая, чем пирамида Хеопса. К сожалению теперь эта пирамида обросла деревьями, травами, она имеет вид холма скорее, чем вид пирамиды, и ее вершина, где вздымался роскошный храм светлоликого бога Воздуха, крылатого змея, Квецалькоатля, занята католической церковью. Чолула была в старые дни тем же для Ацтеков, чем ныне является Мекка для Мусульман и Рим — для католических христиан. Туда двигались набожные толпы пилигримов. Когда я взошел на эту пирамиду, был вечер, и

роскошная долина внизу, с ее правильным узором полей, дорог, и селений, окутанная вечерними тенями, являла лик невыразимо-печальной красоты. Несколько индейцев, с одной красивой смуглолицей индианкой, смотрели, как я, на эту светло-туманную элегию вечера и воспоминаний, потом прошли, как тени, бросив приветливо «Adids» и «Hasta mañana» (До завтра). И я остался один. Ветер, казавшийся осенним, трепетал в вершинах деревьев. Было грустно, грустно. Так пустынно, грустно, и красиво. Зажглась красавица Венера, царица Мексиканского неба. Вулканы, белея, хранили следы Альпийского зарева.

Я поехал на другой день в пленительную Оахаку. Это был праздник. Это был чудный праздник. Оахака — истинно Мексиканский город, в нем не чувствуешь Европы, и все так приветливо там. Это страна Цапотек. А насколько Ацтеки коренасты, угрюмы, и тупы, настолько Цапотек стройны, веселы и умны. У них приветливые лица, их женщины смотрят так свободно и понимающе. Их город наполнен садами, и в веселой Оахаке всегда можно услышать музыку, тогда как над противным городом Мехико — вечный траур молчания. Об Оахаке было сказано «Morada de heroes en el jardin de los dioses». (Обиталище героев в саду богов). Дорога к ней идет среди гор и долин, среди очаровательных гор, где есть залежи мрамора

и оникса. Старинная поговорка гласит: «Кто не видел Севильи, не видел чуда». Я говорю: кто не видел Оахаки, не видел Мексики. Это — отдых, это — радость жизни, это — праздник. Я нашел также в этом маленьком городке и Музей, небольшой, но очень интересный, и славную публичную Библиотеку, где я отыскал несколько книг, в высшей степени для меня полезных. В Музее я видел поразительные статуэтки и «caritas» (личики, маски). Одна статуэтка до изумительности Египетская. У меня есть ее фотография. Я купил также несколько других интересных фотографий.

Утром, в солнечный день, я выехал, в смешном экипаже, запряженном шестью мулами, в священную «сень смертную», в древнюю Митлу, по-цапотекски *Lyobaa*, что значит «дверь гробницы». Судьба благоволила ко мне, и этот день был суббота, рыночный день. Едва я выехал за городскую черту, я вступил в роскошную экзотическую панораму, которая тянулась на несколько миль. Пешком, на ослах, на мулах, на лошаденках, частью в повозках, шли и ехали, в разноцветных своих одеждах, группы Цапо-теков-поселян с овощами, с разной живностью, и с разными сельскими продуктами, в город. Эта панорама — чуть не самое красивое из всего, что я до сих пор видел в путешествии, и во всяком случае самый экзотический, и самый

убедительное для меня в смысле установления родства между Мексиканцами и Египтянами. Сколько Египетских лиц и фигур я видел! И какое разнообразие этих красочных одежд!

Цапотеки влюблены в краски. Белый, красный, синий, розовый, голубой, желтый, все краски проходили перед глазами, в разных сочетаниях, и я навряд-ли видел два-три костюма, которые были бы совершенно тождественны. Особенно красивы головные уборы женщин. Они повязывают голову синими покрывами, в виде тюрбанов. Синие самотканые покрывы с белыми клетчатыми узорами. Из-под этих тюрбанов смотрели смуглые лица с глазами, выразительность которых трудно забыть. Некоторые лица были совершенно библейские. Видел одну красивую старуху, которая так красива в своей старости, как красив был в своей старости Леонардо-да-Винчи. Путь убегал, уходили призраки, несколько десятков минут я испытывал в сердце полное счастье. — В Митле я приехал в деревенский отель «La Sorpresa», который действительно есть «неожиданность»: одноэтажный дом расположен как бы четырехугольным коридором, и то, что в испанских домах образует «patio» (двор), здесь было чудесным садом. Посредине вздымался высокий кипарис, и на темной его зелени, восходя узорно ввысь, краснели пурпурно-аметистовые цветы растения, которое

зовется «пылающий куст», «пламенный цвет». Этот пламецвет, когда на него смотришь, радостно поет в душе.

27 апреля. — Через 2 1/2 часа уезжаю в Монтекристо. Оттуда, съездив в Паленке, напишу еще и окончу рассказ о своих впечатлениях. Посылаю два желтенькие цветка, и зеленую веточку. Эта последняя — с величайшего дерева, кипариса селения Туле, которое находится в нескольких милях от Оахаки. Ты не можешь себе представить, что за чудо это дерево. Нужно человек тридцать (точное исчисление), чтобы охватить его ствол, или вернее, фантастическую группу стволов, которые, седея и серея, выходят один из другого, сливаются, переплетаются, как колоссальные змеи. В то же время это один ствол. Но в нем, говорю я, есть извивы, изгибы, и грани. Некоторые грани имеют вид пещер, они похожи на утесы, на горные срывы. Когда приближаешься к этой царственной «сабине», на сером утесистом фоне выступает огромный узлистый рельеф. Это — как бы геральдический лик всего колоссального дерева. Из этого узла явственно выступают в мощных сплетениях облики змей. Смотришь и чувствуешь, что это не дерево, а целый замкнутый мир, с своею причудливой жизнью, с своими странными грезами, растение-сон, растение — фантазия, растение —

исполинский призрак. В одной из специальных книг я прочел, что этому дереву не менее 3000 лет. И, однако, оно еще полно жизни, и в нем нет омертвелых частей. Его могучесть неистощима. Когда я был в горах Хохо, я спросил туземца-старика, знает ли он дерево «Туле». «Сомопо?» — воскликнул он, оживившись («Еще бы нет!»). «Ему три тысячи лет», — сказал я. «almenos», — ответил он внушительно («По крайней мере»), «Almenos», — повторил он, погружаясь в раздумье, и седые тени веков, казалось, окутали нас среди гор.

8 мая. Фронтера. — Я писал тебе, как я был очарован Оахакой и поездкой в Митлу и Хохо. Должно быть это будет лучшая страница из моего пребывания в Мексике. В путешествиях, как в карточной игре, бывают мистически неизбежные, счастливые и несчастливые полосы. Впечатлительность попадает в какую-то магнетическую волну, и уже как-то не от тебя зависит, что тебе все удастся или наоборот все сговаривается против тебя. В Оахаке каждая мелочь, каждое лицо, каждая вещь были благосклонны. Не я устроил, а Судьба подарила — что музыка играла в садах, в которых я проходил, и на одних деревьях краснелись цветы, а на других виднелись желтые и зеленоцветные плоды. Не я

устроил, а Судьба мне подарила, что среди руин Митлы я увидел самую очаровательную женщину, какую я встретил здесь в Мексике. Это была одна из жительниц деревушки, находящейся у руин. Она предлагала мне обломки идольчиков, которые везде около руин, время от времени, то тут, то там, вырывают из земли, при работе. Эта женщина вся смеялась, и все в ней как бы пело и говорило о пляске. Мне она показалась Египетской царевной.

А услышать в вечернем воздухе Митлы голос Славянина, восклицающий «Добрый вечер»! Правда, это странно? Я осмотрел руины, отдохнул и пошел гулять. Под тенью одного из деревьев, которых достаточно в этом небольшом селении, я увидел неожиданно странную группу: черный медведь, двое белоликих, муж и жена, обедающие около него на земле и полукруг боязливых туземцев, которые с наивным детским любопытством смотрели на зверя и чужеземцев.

«Это славяне», подумал я, «наверно». Вожак спросил меня на дрянном испанском языке, кто я, и узнав, что я русский, тотчас начал радостно говорить со мной на странном языке, представлявшем смесь польского и его родного сербского языка. В несколько минут мы выработали свой собственный всеславянский язык, я коверкал свои слова, он свои и польские, я старался перещеголять его подчиняя российскую речь Гению

Польской Речи, и наша беседа повергла туземцев в еще большее изумление, чем вид черного большого медведя. Один из мексикан отделился от толпы и крепко пожал мне руку, свидетельствуя удовольствие видеть в своем селении столь высокого гостя. А когда стемнело, я снова встретил Серба, и его приветствие «Добрый вечер!» странно отозвалось в моей душе. Мне казалось, что вечерние краски, разбросанные по Небу, как воздушный путь увлекают меня далеко, далеко...

9 мая. — Мне трудно сейчас сказать что-нибудь о руинах Митлы. Я боюсь еще говорить о своих впечатлениях от здешних развалин. Я хочу видеть, хоть в отображеньях созиданья иных стран, измышленья иной фантазии. Знаю пока только одно: здесь скрыты талисманы богатой сокровищницы, гизроглифы, ждущие своего чтеца. К сожалению осталось очень мало от царственных созиданий, которые существовали здесь много веков тому назад. Наибольшее впечатление на меня произвели катакомбы с причудливыми арабесками, среди которых глаз с изумлением видит великое пристрастие к равностороннему кресту. Это возникновение креста и других правильных, математически-правильных фигур, к которым мы привыкли с детства, поражает внимание во всех руинах здешних стран. Декоративный и

строительный Гений, когда-то здесь царивший, вдохновлялся правильными фигурами и был влюблен в математику.

10 мая. Здесь, в милой Фронтере, я нашел колонию китайцев. Мне очень нравятся китайцы. Это уже не первый раз, что я встречаю их здесь в Мексике, и каждый раз они оставляют приятное впечатление. В них есть что-то детское, они постоянно смеются и в них есть естественное достоинство, их услужливость совсем не имеет рабьего характера. Мексиканцы не то, в них слишком часто чувствуешь подчиненную, подчинившуюся расу, и они так часто ублюдочны; эта помесь индийской крови с испанской, отнюдь не содействует улучшению индийского типа. Мексиканцы заимствовали все дурные качества испанцев (леность, грубость, жестокость), но я не видал, чтобы им удалось действительно перенять благородные черты испанского кабальеро, с его смелостью душевных движений и с его кипучей страстностью. Мне иногда кажется, что испанцы времен завоевания потому так охотно рубили головы мексиканцам, что их подвижная, быстро соображающая натура не могла не раздражаться, не могла не приходить в слепую ярость при виде этих «американских голландцев», которым нужно десять раз сказать самую простую вещь, прежде чем они ее

поймут. Я не говорю, впрочем, огульно. Среди туземцев сих мест есть много привлекательных, у них вообще есть очаровательные черты, но это пока они не коснутся Города. Во всяком случае по теперешним *indios* довольно трудно восстановить тип великих создателей пирамид и храмов Солнца.

11 мая. Я так и не кончил свой рассказ о Митле. Я писал, что меня поразило в катакомбах Митлы обильное присутствие креста в виде орнамента, не только в виде орнамента, но конечно и в виде известного символа. Крест еще более поражает в руинах Паленке, возраст которых в истории определяется цифрой 3000 лет. Созидания Паленке увлекают мысль на неопределенную лестницу столетий. Здешние специалисты, как Чезаро, говорят о эпохе в 2500 лет. Я не имею мерил, но только вижу, что передо мной замыслы седой древности, той древности, когда могучий голос Фараонов находил несчетные отклики в великом царстве Нила. Когда при свете звезд я размышлял о только что виденных развалинах Митлы, я вспомнил гротескную мысль католических монахов о Дьяволе, как литературном обворовывателе Христа, и во мне, смеясь, запели строки.

Я в сказке, в странной ласке Сна,

Моя душа опьянена,
Я ничего не понимаю.
Иль в самом деле Сатана
Здесь преграждал дорогу к Раю?
И, совершивши плагиат,
Как это padres говорят,
Восславил Крест до Христианства,
Чтоб сонмы душ увлекши в Ад,
Умножить вопли окаянства?

Пусть точные исследователи говорят мне, что Крест у разных народов имел разное значение, был символом Неба, символом четырех ветров, символом бога Дождя. Моя душа слишком отравлена травами, выросшими под тенью Креста Христова, и я не могу более смотреть на присутствие Креста в чуждых памятниках без особого, невыразимо-многосложного ощущения мировой мистерии, которая, как гигантская птица, нависла именно над маленькой Палестиной и над маленькой Европой, но безмерные крылья которой, черные крылья Мирового Кондора, уходят вправо и влево, в прошедшее и будущее — в какое неоглядное Прошлое! в какое непредвидимое Будущее! Здесь ли, в этой ли стране не быть Кресту среди изваяний, когда он светится, на самом небе, над здешним горизонтом. Я помню это *единственное* впечатление, когда увидел впервые созвездие южного Креста. Только что наступила

ночь, был темен и звезден Восток, я плыл, возвращаясь из Паленке, по реке — Усумасинте, по которой в незапамятной древности плыл царь-жрец, строитель законов и зданий, Вотан, — и вдруг я почувствовал, что вон там, за чернотой леса, над горизонтом, к Востоку, небо совсем другое, чем я его знаю. Что за странные звезды вон там? Что за странный узор, которого я никогда не видал? Да ведь это южный Крест! южный Крест, на который, как, на маяк, шли с наступленьем весенних дней торговые караваны древних Мексиканцев! Южный Крест, о котором я столько мечтал, к которому стремилась моя душа, как стремились волхвы к звезде Вифлеемской! — Каждый вечер, с приезда в Фронтеру, я ходил на пристань, и смотрел на Южный Крест. Косвенным узором, как крест, который незримая рука устремляет к земле, как бы благословляя ее им, или как бы роняя его на нее, это Звездный Символ горит над Морем, низко висит над землей, а там высоко, напротив, сияет наше языческое Северное Семизвездие, которое неизмеримо дороже моей душе.

12 мая. Я ничего не сказал тебе о царственных руинах Хохо, куда я ездил в коляске из Оахаки на причудливой шестерке, из которой два номера — были клячи, и четыре — мулы. Доехав по невозможной дороге до гор, я должен был слезть и

совершить подъем пешком, руководимый неким старцем. Спотыкаясь о камни и смотря сверху вниз на чудесную долину, озаряемую лучами заходящего Солнца, я прошел не без труда версты три, прежде чем увидел благородные развалины. Цари здешних стран умели в древности выбирать места для своих созиданий. Из своих дворцов они могли, с высоких гор, смотреть на мир, лежащий там внизу, и на восходящее Солнце, и на заходящее Солнце. У входа в одно из разрушенных зданий находится ряд больших каменных плит с барельефами. Что за лики! Все лица различны. Можно подумать, что, образуя свиту для того, кто входил в этот дворец, они символизировали тот факт, что владыка этих горных зданий был царем разных народов, покорно стоящих у входа в его покои, одна фигура была совершенно Египетская. Мне казалось, что я вижу мумию великого Рамзеса-Завоевателя.

Пока я бродил среди руин, вошла Луна, и чужеземец, охраняющий их, желая сделать мне что-нибудь приятное, а может быть не мне, а себе, зажег близ этих фигур сухие травы. Огонь весело побежал по травам и заплясал в оранжевой пляске. «Sacrificio a la Luna?» спросил я, улыбаясь, «Si, senor», ответил он мне веселым голосом, и посмотрел на меня понимающими глазами. «Цветы из пламени», сказал я, и снова он посмотрел нечуждым взором. Когда я прощался, он подарил

мне несколько подлинных *caritas* (небольшие глиняные маски идольчиков). Возвращаясь в окутанную тьмой Оахаку, я видел среди деревьев летающих светляков. — Из Оахаки мне пришлось вернуться в Пуэблу, и на другой день, в 6 часов утра, я выехал в Веракрус по очень красивой Междоокеанской дороге (*Ferrocarril Interoceánico*). Среди гор и долин, среди лесов, лужаек, и пропастей, дорога вьется причудливым узором, и, правда, вряд ли где в мире можно еще видеть, что ты едешь долгие-долгие часы — все время имея перед глазами великолепные громады вулканов, увенчанных снегами: на западе — Попокатепетль и Икстаксигуатль, на севере — Малинче, на востоке — Орисава (самый красивый из всех здешних вулканов по гармонии очертаний). Веракрус этот раз произвела на меня совершенно иное впечатление. Она частью напоминала мне привлекательную Гаванну, частью (как это ни странно) Севилью, где я видел католическую *Semana Santa*.

Я попал в Веракрус в Страстную неделю. Было солнечно, весенне, празднично, экзотично. Было много черных. Негритянские лица нравятся мне очень. Впервые я понял их очарование в Гаванне, где много черных. Видеть негритянок, которые набожно молятся в католическом храме, падая на колени перед уродливыми куклами Христа

и Марии, — это зрелище совершенно особенное. Я говорю, меня трогают, меня восхищают негритянские лица. Они гораздо привлекательнее коричневых лиц Индийцев. В них нет этой пасмурной угрюмости, в них детскость, доброта, в них дремлет безудержанная чувственная страстность, в их глазах — завлекающий матовый блеск. Кроме того, негры нравятся мне, как точная четкая отделенность, как несомненная отличность по типу от меня, белоликого. Мой обратный полюс.

И та же набережная Веракрус показалось мне этот раз иной. Шире, красивее. Наши чувства меняют предметы кругом. Во мне была весна, в моей душе звенели колокола и радостно пели цветы и цвета. Дожидаясь отплытия, я бродил по старым улицам, по набережной, катался в лодке по морю, а море было синее, светлое, море смеялось. Я чувствовал, что я еду к новым местам, к истинно новым местам, освященным памятниками таинственного прошлого...

...Приезд во Фронтеру был радостью. Это — маленькое торговое местечко, в тропическом лесу. Я впервые услышал здесь немолчный гул голосов тысячи цикад, которые связаны с тропиками. Впервые вошел в лес, состоящий из плотной переплетенной стены зелени. Я вошел — и шел среди кустарников мимоз, бананов, кокосовых пальм, и других непривычных для глаза растений. В

полуденный жаркий час я видел здесь игуан, и целые адские сонмы крабов на побережье; они бегают боком, прыгают как пауки, прячутся в норы и выглядывают оттуда, потирают себя кривыми лапами, совершенные чертята, почесывающие себя кривыми руками, смотрят выпученными своими глазами, и поразительно похожи на человекоподобных существ. По вечерам, над водой и среди деревьев, летают светлячки. У них электрический зеленовато-белый свет, они похожи на падающие звезды, но эти земные звезды падают по дугообразной линии снизу вверх, и вдруг вверху гаснут, — необычное впечатление, к которому невозможно привыкнуть. Теперь, с новой Луной, их стало гораздо меньше.

Из Фронтеры, по реке Усумасинте, я доехал до скверного местечка Монтекросто, полтора дня пережидал ливень, который промочил даже весь домишко, где мне к прискорбию моему пришлось ночевать, потом совершил мучительнейшее путешествие верхом к руинам Паленке...

До Монтекросто доехал на очень медлительном пароходе, но кони, на которых пришлось ехать к руинам, были медлительнее медленности.

Наконец, у цели! холодные брызги ключа, хоть скольконибудь освежающая тень, и святыня руин! Я напишу тебе о своих впечатлениях о

Паленке, когда увижу родственные, но, как кажется, более поздней эпохи, — памятники Юкатана, руины Уксмаль и Чиченитца, столь прославленные работами Лё-Плёнжона. Мне было больно видеть, в каком небрежении находятся эти священные остатки минувшего. Я один из немногих Европейцев (очень немногих), которые имели энергию и возможность их увидеть воочию. Кто знает, будут ли еще существовать эти величественные барельефы через какие-нибудь 15–20 лет. Они покрываются мохом и плесенью, они быстро разрушаются. А между тем в гиероглифических пластинках дворцов Паленке скрываются какие-то дивные строки, узорные надписи Майев, их так немного теперь в мире! Я непременно возьму, как эпитафию, для одной из своих будущих поэм, слова царицы Майев, изваянные древним скульптуром Паленке. «О, ты, который позднее явишь здесь свое лицо! если твой ум понимает, ты спросишь, кто мы. — Кто мы? спроси зарю, спроси лес, спроси волну, спроси бурю, спроси Океан, спроси любовь! Спроси землю, землю страдания и землю любимую! Кто мы? А? мы — земля!» Это она же, неведомая и прекрасная, которая сказала, что она хочет быть красивой, хотя ее красота — кто знает? — быть может будет причиной слез, эта таинственная царица, велела изваять слова: «Я — отдаленный

голос жизни, я — всемогущая жизнь!»

28 мая. *Мерида*. — Кажется, Солнце прекратит мое письмо. Уже второй день оно так неистово жжет. Здесь все же оно милосерднее, чем было во Фронтере и в Паленке, где стеариновые свечи утрачивали под влиянием солнечного тепла свое вертикальное положение и превращались в какой-то жалкий вопросительный знак, чайный котелок, находившийся в ручном саквояже, оказался нагретым без помощи спирта, так что об него почти можно было обжечься. Не напоминает ли это повествований барона Мюнхаузена? Между тем, это истинная правда.

Я мало говорил в прошлых письмах о своих впечатлениях от тропического леса. Может показаться странным, но, увидавши экзотики, я возвращаюсь страстным поклонником России и Европы. Мне нравится многое здесь. И этого многого прекрасного нет у нас. Но в общем, в целом, можно ли сравнивать нашу изысканно-красивую Европу с этими варварскими странами. О, наша Европа! Она представляется мне нежным ожерельем, ниткой жемчужин, воздушной акварелью, оазисом, садом, чарующим садом, где на малом пространстве — удивительное разнообразие гениальных достижений. Наши города — стройны и величественны, как видения

спящего ума. Наши города — священные хранилища великих созданий Искусства. Это — зачарованные горницы, в которых много дивных талисманов. Наши реки и озера многоводны. Наши леса полны светлых прогалин, наши леса и рощи — как сады, наши дремучие леса полны сокровенных тайн, свежести, сказок, нежных цветов, птиц с гармоническим голосом...

Мехико. 6 июня. — Мое последнее письмо в Мериде оборвалось. Я не мог его продолжать, мной овладело перед отъездом то ощущение душевной пустоты, которое возникает, когда закончишь что-нибудь большое. Посещение руин Уксмаль и Чичен-Итца, величественных, надо думать, не менее, чем Египетские, завершило мои двухмесячные странствия в областях Чиapas, Табаско, Кампече, и Майя. Что-то большое кончилось. И кончилось — все же не дав мне и части того, чего я ждал. — К этой последней тоскливой ноте примешалось чувство изумления и жгучей боли, от поразившего меня известия о разгроме наших кораблей (я так их полюбил за их долгий и трудный, искусно пройденный путь!) -

10 июня. Я еще ничего не сказал о том, как я путешествовал по стране Майев. Боюсь, что ничего не сумею рассказать, не сделав этого своевременно,

под первым впечатлением. До поразительности быстро стираются впечатления, когда их меняешь так беспрерывно. Давно ли я был в Паленке? Ни за что в мире я не мог бы себя принудить сейчас рассказывать о руинах Паленке и о моем к ним странствии. Ни слишком далеко, ни слишком близко. Задвинуто, затерто, неинтересно, погасло. Снова засветится много-много спустя. А Ксочикалько? О Ксочикалько я мог бы говорить, ибо оно уже отошло в какое-то невозвратное прошлое. Притом же Ксочикалько было моим посвящением в руины Ацтеков и Майев.

Я писал, что, отправляясь, в Паленке, я решил уклониться от советов Чаверо и других доброжелателей. Револьверы здесь носят более из своеобразного юнкерства. Романтическая Мексика, более или менее всесовершенно, сдана в архив. Здешние ягуары нападают охотнее на овец и телят, нежели на людей. И на мой шуточный вопрос: «Есть ли в Уксмале тигры?» Юкатанский губернатор с понимающей улыбкой ответил: «No, senor. Los tigros humanos, si». И действительно, человеко-тигры, или, вернее человеко-волки, человеко-свиньи, и человеко-собаки водятся здесь, — как и в других климатах, — в большом количестве!

В Мериде мне пришлось воспользоваться письмом Чаверо к Юкатанскому Губернатору, по

той простой причине, что и руины Уксмаль и руины Чичен-Итца находятся в районе частных владений, около усадеб (fincas) Дона Аугусто Пеона и Мистера Эдуарда Томпсона. Юкатанский Губернатор, Олегарио Молина, оказался премилым старцем. Простой, любезный, умный. Он познакомил меня с Пеоном, который не только разрешил нам ночевать в его усадьбе, но и дал нам свои гамаки, и нагрузил нас неистовым количеством всякой провизии. Приехав к вечеру на станцию, где нас ждали лошади, мы весело уселись в колесницу, которая здесь именуется «волян-коче» (volan-coche). На каком это языке, для меня осталось не вполне ясным, но что это несомненно летающая колесница, для меня выяснилось немедленно. Сия повозка представляет как бы клетушок, с тюфяком, два гигантские колеса, покрывка, дышло, два мула, и третий впереди — сооружение. Возницей был Майский юноша. Был дивный вечер, мы сидели полулежа, и я восхищался, что вот я в Мане наконец. Дорога шла через рельсы, мулы летели, резкий поворот, и мы падаем на левый бок, «всем составом». Счастье, что мы не сломали себе ни руки, ни ноги. Я слегка ушиб плечи. Между тем удар был так силен, что повозка сломалась. Пришлось телефонировать в усадьбу, и требовать другую колесницу. В ожидании ее мы бродили близ стройных пальм и

наслаждались поразительно-красивым закатом. Этих воздушных зеленоватых и аметистовых красок, этих тонов расплавленного воздушного золота я нигде не видал за всю жизнь, только на Атлантическом океане и в Мексике. Была уже ночь, когда мы быстро помчались по невозможной дороге, усеянной большими камнями и целыми глыбами камня, не по дороге, а вернее по узкой тропинке, пролегающей среди сплошной чащи тропического леса. Было странно. Было похоже на роман, на сказку. Среди ветвей и над вершинами деревьев пролетали светящиеся жуки.

Мы приехали совсем ночью. Большой неуклюжий каменный дом был совершенно пуст. В нем был только *ranchero* (арендатор усадьбы) и несколько его слуг, индейцев. Темные тени мелькали по балкону, открывали двери в какие-то погребные комнаты...

Руины Уксмаль (или, как говорят в Майе, Ушмаль) совсем близко от усадьбы, верстах в двух-трех. Мы поехали туда на другой день утром. Я не решаюсь говорить об этих развалинах. Их тайна слишком велика. Их красота, как ни уменьшена она людьми и временем, уводит мысль к тайне, которая связывает уловимой, но зыбкой связью в одной мистерии такие различные страны, как Египет, Вавилон, Индия, и эта неразгаданная Майя. Думаешь о погибшей Атлантиде, бывшей

очагом и колыбелью совсем различных мировых цивилизаций. Чувствуешь, что без Атлантиды невозможно понять и объяснить огромного рода явлений из области космогонических помыслов и созданий ваяния, живописи, и строительного искусства. Слишком красноречивы сходства и тождества.

Как хорошо умели строить Майи. Они любили высоту, и для своих молитвенных настроений они выбирали такие места, что могли видеть под собой и перед собой широкую панораму. Они любили даль, которая уходит к горизонту. В их молитвы свободно входили Солнце, звезды, воздух, и зеленые просторы Земли.

Пирамидный храм, который называется Домом Колдуна и Домом Карлика, хорошо сохранился. К верховной молельне ведет крутая лестница саженой в десять. Очень крутая. Плиты образующие ее — по футу в высоту, ширина ступени меньше четверти, так что нельзя поставить на нее ногу целиком. Я весело и радостно начал всходить, на середине лестницы сообразил, что спускаться будет гораздо труднее, и высказал свое соображение вслух, но быстро продолжал подниматься. Вид с пирамиды — один из самых красивых, какие мне когда-либо приходилось созерцать. Безмерный зеленый простор. Изумрудная пустыня. Четко видятся серые здания

там и сям вблизи от пирамиды. Это другие руины, священные останки погибшего величия. Здесь был когда-то могучий город. Теперь это — царство растений. Они захватили все кругом. Они захватили эти погибшие храмы и дворцы. Деревья и цветы взяли их в плен. И на верхней площадке, откуда жрецы глядели на примолкшие толпы благоговейных молящихся, теперь тихонько качается под ветром красивый легкий ствол, убегающий ввысь из куста могучих листьев агавы.

Весь мир казался объятый великою тайною Молчания, когда я смотрел на зеленый простор, с высоты этой Майской пирамиды.

Я испытал мучительнейшие ощущения, когда мне пришлось спускаться вниз по этой широкой, но крутой лестнице без перил. Увы, мне пришлось спускаться спиной к подножью и лицом к лестнице, как я поднимался, опираясь обеими ладонями о верхние ступени, и осторожно ощупывая ногой нижние ступени, прежде чем сделать шаг. Напоминаю, что ширина каждой ступени была менее четверти; в случае неверного шага, руками нельзя было бы уцепиться, и падение было бы неизбежно. Я все же овладел своим волнением и спустился не спотыкаясь, принудил себя даже напевать и свистать. Когда я спустился, провожатый (несколько поздно) сказал мне, что все путешественники поднимаются и спускаются здесь

с помощью веревки. Ни в Уксмаль, ни в Чичен-Итце, где пришлось подниматься на высоту несколько раз, я ни разу не унился до пользования веревкою, и рад, что и в данном случае, я, как путешественник, вполне выдержал экзамен.

Красива была ночь в усадьбе Пеона. Мы были совершенно одни. Все рано улеглись спать. Мы сидели на балконе, около чудесных пальм, под глубоким звездным небом. Южный Крест и все узоры звезд, которые можно видеть лишь здесь, в тропиках, чаровали и пьянили глаза и душу. Казалось, что спящий мир кругом — первобытный мир, со всею мощью своих первичных сил, без вопросов, без дум, без людей.

Мы выехали из усадьбы ранним утром, в три часа с небольшим, чтобы поспеть на станцию, к поезду. Стало рассветать, лес был иным, кое-где на ветвях еще мерцал затянувший свое ночное празднество светляк, точно драгоценный камень, слегка качающийся и переливающийся в своих смягченно-электрических оттенках. Луна, еще не успевшая погаснуть, странно сочеталась с ярко-горящей Утренней Звездой. В моем уме запели строки.

Еще не погасла Луна,
Но светит румянцем рассвет,

И ярко Венера видна,
Царица блестящих планет.
Созданье великих веков,
Застыли руины Уксмаль,
Воздушны края облаков,
Пустынна безбрежная даль.
Здесь жили когда-то цари,
Здесь были жрецы пирамид.
Смотри, о мечтанье, смотри,
Здесь жемчуг легенды горит.
Здесь чудится памятный стих
О сне, что в столетьях исчез,
Пропел, и, изваян, затих
Под тройственным светом Небес.
В безгласье седеющих плит
Узорные думы молчат.
И только немолчно звучит
Стоустое пенье цикад.

11 июня. Среди руин Уксмаль есть одно здание с подземельем, в котором мне довелось испытать ощущение единственное. Не знаю кто, но кто-то неумный, назвал это здание Casa de la Vieja (Дом Старухи). Так же точно и дивную Колдунью Райдера Хаггарда безумные считали старой. Ты помнишь поразительный его роман «She»? — Более чем когда-либо ценю Хаггарда.

Я вошел в подземелье полусогнувшись, в точном смысле уменьшившись в росте

наполовину, — иначе войти в подземелье нельзя. В полузасыпанном обломками камней коридоре, у левой стены, я увидел лишь одно изваяние, строгий лик, фигура по пояс. Казалось, и может быть это так, наверно так, — казалось, что нижней половиной своего тела эта фигура ушла в землю. Когда я приблизился к этому лицу вплоть, мной овладело волнение, странное, я сказал бы вспоминательное. Вместо старого лица, которое я должен был увидеть, и вместо уродливого лика, одного из тех, к которым я здесь привык, на меня глянуло молодое и вечное лицо, молодое и прекрасное. «Да ведь это она, она», подумал я про себя, «She who must be obeyed».

«Колдунья, мне странно так видеть тебя.
Мне люди твердили, что ты
Живешь — беспощадно живое губя,
Что старые страшны черты: —
Ты смотришь так нежно, ты манишь любя,
И вся ты полна красоты».

На меня глядел прекрасный лик египетски-еврейского типа. Тонкие черты, живые глубокие глаза, не живые, но полные жизни, красивый нос с выразительно-четкими ноздрями, и губы, которые умели и умеют — молча говорить. Головной убор — как будто нашей боярыни,

головной убор — как будто византийский, и легкие подвески упали с него. Мне казалось, что это лицо жило. В нем была какая-то мысль и чувство. Я исполнился колебания и смущения. Я не мог *так* уйти от него, как уходят от мертвой картины и каменной статуи. С ощущением несказанным я приблизил свои губы к этому лицу, и странное чувство освежительной прохлады возникло в душе, когда эти изваянные губы, приняв мой поцелуй, волшебным образом ответили на него.

13 июня. Когда я собрался поехать на руины Чичен-Итца, прославленные Стифенсоном («Incidents of travel in Yucatan») еще в те времена, когда наш Гоголь создавал мучительные лики русских человек, и еще более прославленные Лё-Плёнжоном, откопавшим там статую Царевича-Тигра («Queen Moo and the Egyptian Sphinx»), я опять отправился к Юкатанскому губернатору, и он дал мне рекомендательное письмо к *Presidente Municipal* селения Дцитас, находящегося верстах в тридцати от руин [*Кроме того губернатор телеграфировал ему о моем приезде*]. Я не вполне неуместно припомнил имя Гоголя, ибо мой приезд в это благословенное селение и разговоры с людьми, его населяющими, мне непобедимо напомнили «Ревизора». На станцию, предшествующую Дцитас,

был послан индийский юноша, представитель сельской полиции, чтобы разыскать нас среди пассажиров, весьма немногочисленных, и чтобы мы как-нибудь не проехали мимо. Он безошибочно узнал нас среди публики, и, когда мы подъезжали к станции Джитас, мы увидели толстого муниципального представителя (на вид — не то наш подрядчик, не то волостной старшина), который, запыхавшись, спешил к нам навстречу, а юный представитель индийского порядка с площадки радостно показывал ему на нас: товар, дескать, доехал благополучно. Этот президент села был в откровенно распахнутой блузе и в сандалиях. Плутоватые глаза его не очень были способны прямо глядеть в чужие [*Очень было трогательно, когда я уезжал и мы прощались. Он склонился к моему плечу и пролепетал: «Скажите, пожалуйста, губернатору, что селение по ночам освещено»*]. Являя живой гротеск, он повел нас среди луж и мимо цветущих деревьев, в «колониальную» лавку селенья, при коей была зала, а в зале нас ждал обед. Пока мы сидели и ели, в лавке собралась толпа и глазела на нас, как мы едим и что мы пьем. Ехать в этот вечер на руины было уже поздно. И нас повели ночевать — в сельскую школу! Отелей, правда, в этом селении нет. Итак, я испытал неожиданное удовольствие ночевать в индийской школе и мой гамак висел в классной как

раз перед черной доской, на которой мелом были написаны изречения: «El maestro es muy delicado», «Ама асу пројімо сомо а сі місмо», и тому подобное. Насчет возможности любить своего ближнего как самого себя я очень сомневался, но что учитель очень деликатен, это я тотчас увидел по редкой в сих странах чистоте помещения. Утром, в семь часов, мальчишки, жаждущие образования, лишили нас возможности дальнейшего злоупотребления храмом грамоты. Мы поехали на чудовищно-ленивых мулах и по дороге совершенно изумительной в смысле обилия каменных препон. Зато справа и слева была сплошная стена зелени, и множество деревьев были покрыты несчетными цветами, лиловыми, голубыми, красными, желтыми, и белыми. Особенно красиво было дерево, которое зовется здесь Майским цветом. Белые цветы, целым множеством, похожие на олеандры, с освежительным запахом наших болотных цветов. Когда я сорвал ветку, мои пальцы покрылись белой сладковатой и липкой жидкостью. Белая кровь Майского цвета.

Мы приехали в очаровательную усадьбу, принадлежащую американскому консулу, археологу, Эдуарду Томпсону, который раз навсегда отдал своему управляющему приказание, чтобы он радушно и безвозмездно принимал чужестранных гостей, которые приедут посетить

руины Чичен-Итца. Как радостно было видеть эти седые руины прямо из окон комнаты! А под самыми окнами были клумбы, зеленел и пестрел красивый сад. Успокоительная тишина, радость достижения, безоблачное небо над нами, безоблачность беспечности в душе. И в довершение приветливого ощущения, в столовой я нашел полку с книгами, английскими и французскими. Неизбежные дешевенькие издания «Гамлета» и «Лиры», запыленные томики стихотворений Кольриджа и Бёрнса, целый ряд книг по естественным наукам, и — о, радость — книги моих любимцев, Лё-Плёнжона и Брассера де-Бурбура. Это было совсем как в сказке. Точно добрый дух о мне позаботился. Точно меня здесь ждали, и вот я бродил по этим комнатам, в этом саду, где так нежны краски, а там дальше *они, они*, руины Чичен-Итца!

Ты помнишь, как однажды, в первое наше путешествие, мы блуждали около Charing-Cross-отеля, в Лондоне, и случайно остановились у теософского магазина? Я, помню, купил тогда «The Voice of the Silence» Блаватской, и взял каталог теософских книг. Эти две маленькие книжечки, из которых вторая была добрым путеводителем, сыграли большую роль в моей жизни. Прекрасная, как драгоценный камень, книжка «The Voice of the Silence» была утренней

звездой моего внутреннего рассвета. Она ввела меня в новый мир. А по этому, некрасивому на вид, каталогу я приобрел целый ряд драгоценных книг, с которыми я провел столько радостных и просветленных часов за последние годы. Между этими книгами была и книга Augustus le Plongeon, «Queen Moo and the Egyptian Sphinx», без которой я, быть может, никогда бы так не увлекся мыслью увидеть неразгаданные руины Майев, возникшие под созвездием Южного Креста. Я их видел, я их знаю. Не мне сказать о них решающее слово. Но я знаю, что недалеко время, когда это слово будет сказано, и красочная радуга угаданий, возникнув над погибшей Атлантидой, соединит в одну картину Майские развалины, Египетские пирамиды, Индусские храмы, и Океанийские легенды. Наше детское Европейское летосчисление уступит место иному масштабу, временным рубежам, на столько же превышающим наши устаревшие мерилы, на сколько полет кондора превышает перепархивания домашних птиц. И мы научимся тогда смотреть на луга и долины не с высоты маленького Монблана, уже затоптанного глупыми путешественниками, а с вулканических высот гигантского Чимборасо, под снежной громадой которого Перуанцы воздвигали золотые храмы Солнцу и серебряные — Луне.

13 июня. Когда смотришь на храмы и дворцы, воздвигавшиеся в этих солнечных странах, первое, что поражает, это именно любовь строителей к Солнцу и Небу, их открытость перед ликом Природы, их любовь к высоте, к царской широте горизонта. Игнатий Лойола, указывая верному католику путь для спасения, путь истинно «достойный Бога и меня», как говорит он, подчеркивает необходимость смотреть на все «*como de lejos y desde un sitio elevado*» («как бы издали и с места возвышенного»). Он говорит, что нужно для этого понять, как первоистину, что «*Dios y yo, ahora no haumas en el mundo*». («Бог и я, и теперь никого нет больше в мире»). Никого и ничего, кроме человеческого сознания и Мирового Молчания, с которым это человеческое «я» встало лицом к лицу. Тогда открывается безмерность истинного познания и тогда возможно «*very poseer a Dios*» («видеть Бога и обладать им»). Итак — «*fuge, tace, quiesce*». («Беги, молчи, спокойным будь»). Уйти, молчать, быть тихим с тишиной.

Древним Тольтекам, Строителям, древним Майям, Сынам Земли, были близки эти слова и мысли позднейшего экстатика благоговейных созерцаний. Они смотрели на высоту и на отъединенность от низких будней как на необходимую ступень к соединению с Запредельным, как на первое условие

познавательной молитвенности. С высоты Майских Пирамид легко было глядеть на мир спокойно и гордо, не покоренным рабом, а повелителем. В величественных Майских монастырях, где Девы Солнца, инокини Верховного Светила, поддерживали вечный огонь, в сознании возникали ослепительно-яркие мысли, и смуглым девушкам, окутанным золотыми сияниями сновидений, открывалось во сне многое, что может возникать лишь далеко от топотов повседневной суеты и высоко над плоской деловитостью загроможденных базаров.

Я был в Теотиуакане, на Пирамидах Солнца и Луны. Я восходил на Пирамиду Солнца, которая больше знаменитой Пирамиды Хеопса. Но не величиной этой Пирамиды я был поражен, и не сознанием, что этим вот громадам — тысячи и тысячи лет, а тем, что отшедшие люди, бывшие их строителями, так неизменно понимали, что храмы, в которых мысль должна стремиться к Небу, должны восходить к Небесам и быть открытыми для звезд, должны быть отдалены от домов, в которых едят, пьют, торгуют, и суесловят, должны быть цельными и царственно-гордыми в своей отъединенности, как высоки и уединенны орлы, вековые деревья, и горные вершины, — как неслитна с ничтожными облачками огромная грозная туча. И когда с Пирамиды Солнца я глядел

на окрестные горы и долины, когда я видел, как красиво идет от этой громады Дорога Мертвых, ведущая к Пирамиде Луны, я понимал, что когда-то легко было молиться в храмах, и легко было, молясь в храме, чувствовать свою связь с Миром, и вряд ли у молящегося бился в душе крик, вырвавшийся у Блэка: «*My mother, my mother, the church is cold* » («Мать моя, мать моя, церковь холодна»).

Я думаю даже, что когда, вместо безкровных жертвоприношений, освящавшихся кроткими жрецами Квецалькоатля, опьяненные Солнцем и красками Ацтеки высекали обсидиановым мечом сердце у возведенного на высокий теокалли военнопленного, не у всех, далеко не у всех убиваемых так, в сердце был только ужас смерти. Живое сердце, вырываемое из груди и поднимаемое рукою жреца к Солнцу, чтобы потом быть брошенным к лику страшного идола, хотело жить, как свойственно человеческому сердцу хотеть снова и снова биться. Но, символизируя вулканический Огонь, который, вырываясь из недр Земли, взматается к Солнцу, это сердце не только гибло, но и знало, что его ждет блестящая новая жизнь. Воины, погибавшие от меча, умирая, уходили в чертоги Солнца. Там ждали их, там им давали быть светлыми и счастливыми, а потом, за краткой сменой лет, эти души оживляли птиц с

цветистыми перьями и с звучным голосом, и оживляли облака, легкие, переменчивые, воздушные, высокие и вольные, обрамленные золотую полоской. Умирать тяжело, но не знаю, где легче умереть, в душной ли комнате или под ярким, ждущим тебя, Солнцем, на высокой пирамиде, в безмерном раздвинувшемся мире, пред лицом страшного, неумолимого, но быстрого в своем ударе, жреца, с которым гибнущий сливается в свой последний миг в каком-то жутком причастии пред ликом неизбежного, но не только жестокого, а и нежного в своей жестокости, Рока. Мне ужасно думать о том, что с уступа на уступ можно быть возведенным на последнюю грозную террасу пирамидных теокалли, и быть поверженным на жертвенный камень, и увидеть взмах агатового лезвия. Но я знаю, я чувствую, что и бескровные жертвы Тольтеков, возлюбивших цветы и благовонные курения, и жестокие жертвы Ацтеков, возлюбивших цвет крови, суть свечи, горящие перед Всевышним, и почему зажглись одни и другие, как могу это знать я, свеча малая, и какие светильники Ему желаннее, мне страшно об этом думать. Чтобы думать об этом без страха, и знать это, нужно, верно, сполна слиться с Тем, Который светит, и Который сжигает.

Я много думал об Огне. Сгореть не страшно. Мне кажется страшным и чудовищным другое: это

— медленное постепенное угасание людей, которых я видел светлыми и горящими. Чадное угасание мыслей и образов. Погасанье всех костров, потуханье всех светильников. Я сам чувствую в себе неиссякаемую юность, и чем дальше я иду в жизни, тем все легче и легче мне. С каждым пройденным большим путем я сбрасываю с себя часть тяжести, которую я на себе влачил. И в то время как там и сям я вижу знакомые лица, и вижу с негодованьем, с досадой, и с душевной болью, что чем дальше идут эти люди, тем все угрюмей и согбеннее они становятся, я становлюсь веселей и светлей с каждым шагом, я чувствую журчание ручьев и пение жаворонков, я чувствую, что стан мой выпрямляется, в моем теле растет бодрая сила, в моем сердце, влюбленном в Мечту, неумолчно поют ключи.

17 июня. Это то, что было в Оскаре Уайльде, и за что я его исключительно люблю. Не зная друг друга, мы говорили одинаковые слова о поклонении Солнцу и о вечной юности. И, если он, мой старший брат, справедливо, как представитель более утонченной расы, называл себя Царем Жизни, я скажу, что я не King of Life, но я сладкогласный трубадур, я весенний солнечный луч, я звон ручья, я нежный лютик, я смешинка на детском лице.

Но, если я — в наслажденье влюбленный,

если я язычник, поющий гимны Солнцу и Луне, и всему Четверогласию стихий, во мне также силен и Христианин, я не могу победить в себе желания быть кротким и смиренным, быть послушным орудием пославшего меня; я понял красоту Христа, я не могу не знать, что Евангелие от Иоанна — самая трогательная и нежная книга, которая была написана. Я хочу быть часто со Христом, — если можно всегда, потому что ведь он не мешает, а помогает любить цветы и птиц, которых я так люблю. Но для этого я должен молиться, а молиться так трудно. Мне стоит войти в лес, мне стоит только выйти из комнаты в сад, и я безгласно, по-язычески молюсь вещам мира. Я люблю травку и мошку, я готовь прильнуть губами к ветке сирени, к простому подорожнику, я сливаюсь с тучкой неба и с ветром, бегущим по земле и шуршащим в ветвях, но когда я вхожу в христианский храм, мое сердце сжимается, и я чувствую, что свежие воды, которые журчали в моей душе, пропадают в сухих песках, не насыщая их и не делая их более красивыми.

Да, я не могу не испытывать таинственного восторга и трепета, когда сижу в католическом храме и слышу величественные раскаты органа. Я не могу не плакать и не рыдать, когда я слышу прекраснейшие похоронные песни нашей православной церкви. Но этого мало, мало мне, я

хочу чтобы храм, в который я вхожу, был залит лучами Солнца и весь пестрел цветами. Я хочу, чтобы, когда я молюсь, все кругом было красиво, и все молились бы кругом, а не смотрели бы тускло, с чужими, равнодушными лицами. Я хочу чтобы в храме, где я молюсь, не слышалось жестокого бряцанья монет, и чтобы в него не врывался гомон с улицы, убивая святыя внушенья песнопений.

И потому я благословляю людей, строивших храмы на высотах, я люблю потомков Атлантов, которые молясь, сливали в одно великое очарование — мысли, цветы, слова, благовония, краски и вольный воздух, и высоту пирамид, с которых виден зеленый океан растений до дальней черты горизонта, под родным лазурным небом, под лучами родного, народившего нас, Солнца.

Где мой дом? «О Марине Цветаевой»

Это было в Москве в 1920 году, в один из тусклых зимних дней. И небо и земля были с утра затянуты всеразлитой дымкой, той странной и жуткой белесоватостью, которая чем-то напоминает жуть бельма, лишаящего человеческий глаз нашего лучшего дара — способности видеть.

Снова я проснулся в холодной постели, в комнате, издавна промерзлой, ибо давно уже нам топить было нечем. Полураскрытыми глазами, чувствуя в душе и в теле утомление безграничное, я смотрел, и все кругом было так, совершенно так же, как это установилось уже много недель и месяцев. Я лежу на диване, в комнате, которая когда-то была моим рабочим кабинетом, а теперь стала учреждением всеобъемлющим. Рабочим моим кабинетом эта комната не перестала быть. Шкаф с книгами — поэты и философы, книги по истории религий, много книг по естествознанию — стоит на своем месте: этого у меня никто не отнял. На своем месте и письменный стол: на нем тоже правильные ряды книг и вчера оконченная рукопись, которая никому не понадобится. Она никому и не нужна. Это — нечто о древних мексиканцах. Против меня, у стены, где дверь, — моя кровать. В этой холодной постели, несколько согревая друг друга телесным

теплом, спят два близкие мне существа. Моя девочка двенадцати лет, изголодавшаяся, ослабевшая, много недель не решающаяся выйти из постели в холодный воздух комнаты и вовсе не выходящая из дому, потому что выйти не в чем, ее мать, делящая со мною мою жизнь и, несмотря на свои лохмотья, каждое утро бегающая на Смоленский рынок, чтобы раздобыть какой-нибудь съедобы. Но, кроме пшена, что же добудешь? Тут же, около кровати, и печурка, на которой это пшено будет изготовлено.

Дятельница пшена проснулась и начинает кашлять. Она кашляет долго и с надрывом. У нее чахотка, и доктор говорит, что, если я не увезу ее за границу, она к весне умрет. Но на что же и как же уехать за границу? Я слышу в этом кашле какой-то посторонний звук, он кажется мне плачем. Я встаю, подхожу к письменному столу, отпираю один из выдвижных ящичков и вынимаю оттуда квадратный кусочек сахара.

— Съешь, — говорю я.

Она с жадностью съедает кусок сахара, и кашель прекращается.

Это вчера, проходя по Арбату, я купил за непомерные монеты у какой-то алчной бабы три кусочка сахара весьма грязноватого цвета. Я знаю, что кусок сахара лучше всякого лекарства помогает от кашля. Я тайком запер к себе в стол эти три

куска. Остальные два пригодятся ей же, когда она, проснувшись, опять будет задыхаться от кашля.

Дяательница пшена, ободрившись, встала, оделась, и, так как у нее нет ни валенок, ни ботишков, она свои ноги, обутое лишь в тонкие туфельки, с тщанием и с большой находчивостью начинает обертывать в какие-то неправдоподобные обмотки. Я смотрю, и в тусклом свете зимнего утра эта бледная женщина с исхудалым лицом кажется мне лунатическим призраком. Все ее движения — сомнамбулические, и я сказал бы — нелогически прямолинейные. Обмотки на ее ногах вызывают во мне чувство необъяснимого суеверного страха. Быть может, это оттого, что маленькие женские ноги стали непомерно большими? Нет, тут что-то другое. Я неотступно начинаю думать о том, как некоторые убийцы, будучи не в силах смотреть на свою жертву, тщательно укутывают ее, закрывая лицо убитого простыней. Я вспоминаю также, что перед тем как человека вешают, его голову просовывают в какой-то скрывающий его от мира колпак, — говорят, похожий на капюшон инквизитора-монаха.

Дверь открылась и закрылась. Через минуту я слышу под окном хруст удаляющихся шагов.

— Мирра, ты спишь? — спрашиваю я девочку.

— Сплю, — слышится вялый, медленный,

тянущийся ответ.

И каждая из четырех букв этого короткого слова, с непомерным удлинением последнего гласного звука, начертывается для меня в холодном воздухе каким-то звуковым зацеплением. Мне начинает казаться, что мы где-то далеко на Севере, мы отправились к Полюсу, нас затерло льдами, у нас цинга, нам не может помочь никто, мы забыты, и только метель подает свой голос, бросая комья и хлопья снега в заледеневшее окно с его морозными узорами.

Я встаю. Я твердо знаю, что единственная возможность не погибнуть и не пригнуться до земли в беде — это решительное противоборство. Несмотря на то, что в комнате несколько градусов ниже нуля, я снимаю с себя рубашку и моюсь с ног до головы. Я делаю это каждый день и только этим поддерживаю в себе бодрость и какое-нибудь жизнеподобие. Да и оставаться дольше в постели очень уж неудобно. Жители соседних комнат, наглые жильцы, самовольно поселившиеся в моей квартире, люди весьма вульгарные, подняли свой гвалт и как будто нарочно стараются быть тем более громкими, чем менее они имеют на это какие-нибудь логические основания.

"Мой дом, — говорю я про себя не без горькой веселости. — Хотел бы я от кого-нибудь узнать, где мой дом и где мои могли бы быть со

мной не как собаки, которых, за неимением иного, загнали нескольких в одну холодную собачью конуру, и вот они там повизгивают, не восхищенные идеальным морозным воздухом".

А все-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с ней быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеемся, читаем друг другу стихи. И, хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу при встречах.

В тот день наше свидание было не совсем обычным. Проходя по переулку, я увидел лежащий на земле труп только что павшей лошади. Я наклонился над ней. Она была еще теплая. Быть может, всего час тому назад, всего полчаса она перестала жить. Но кто-то уже успел отхватить от нее одну заднюю ногу, обеспечив себе не один сегодняшней обед. А в ожидании, что придут и другие люди, нуждающиеся в мясной пище, тощая собака с окровавленной мордой, пугливо озираясь и время от времени рыча, торопливо отгрызала от лошадиного тела кусок за куском.

Вороны каркали, перелетали и перескоком приближались к пиршеству, но не решались приблизиться вплоть.

Эта злая примета прогнала мою веселость, и, когда я постучался к Марине, я услышал, что за дверью кто-то бегают, но не торопится мне открыть. Я подивился и, обеспокоенный, постучался опять.

— Сейчас, сейчас, — раздался веселый голос Марины.

Дверь распахнулась, и моя поэтесса, с мальчишески-задорным лицом, тряхнула своими короткими волосами и со смехом сказала:

— Вот что, Бальмонтик, идти ко мне в гости нынче опасно. Посмотрите.

В зале, которая находилась рядом с приемной и вела в комнату Марины, был, частью стеклянный, потолок. Он был пробит в нескольких местах, а на полу валялись огромные куски штукатурки. Это в верхнем этаже обвалился потолок, пробил стеклянный потолок залы, и тяжелые куски штукатурки от времени до времени еще продолжали падать.

— Я не боюсь, — сказал я.

И, взявшись за руку как дети, мы со смехом быстро пробежали в ее комнату, под угрознозиявшим обезображенным потолком залы. Головы наши остались целы. Очевидно, они еще зачем-то были нужны Судьбе. Может быть, нужны еще и сейчас, — хотя я мало это чувствую, что до меня, не видя вообще решительно никакого смысла во всем, что совершается на Земле.

Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит:

— Хотите? — При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготавливать то, что называется сигаркой или же козьей ножкой.

Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю:

— Нет, сегодня не нужно, я сегодня богат.

Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять.

Марина добрая и безрассудная. Она не хочет остаться в долгу. У нее в доме несколько картофелин. Она все их приносит мне и заставляет съесть.

Марина живет одна со своей семилетней девочкой Алей, которая видит ангелов, пишет мне письма, самые красивые из девических писем, какие я только получал когда-либо в жизни, и пишет стихи, совершенно изумительные. Припоминаю сейчас одно, которое могло бы быть отмечено среди лучших японских троестрочий:

Корни сплелись.

Ветви сплелись.

Лес любви.

— Что нового, Марина?

— Да что же нового может случиться? Какие-то поляки у меня поселились. Очень вежливые. Говорят со мной по-французски и любезно сообщают, что у меня очень много интересных вещей в доме, которые, очевидно, мне не нужны. Добрые такие. Они освобождают дом от ненужных вещей. Сегодня унесли и продали стенные часы. Говорят — мешают спать своим боем. Деньги за них не то потеряли, не то проиграли в карты по дороге.

Марина — героическая женщина. Уж более двух лет ее муж, с самого начала присоединившийся к Корнилову, потерялся где-то там, за фронтом, и она не знает даже, жив он или убит. Но спокойно-благоговейно она верит, что он жив, и ждет его, как невеста ждет жениха. Ее сердце знало верно. Она дождалась свиданья и соединилась с любимым.

— А у вас что нового?

— Все то же. Помрут мои птицы.

— Увезите, увезите их. Уезжайте отсюда.

— Как же уедешь, Марина, из этого Ада, который держит? И что я буду делать, что мы стали бы делать там, в чужом мире?

Как ни плохо здесь, Россия — мой дом. Я не

мыслю себя вне Москвы.

— Вы вернетесь потом. Нужно спасти их.

Мне хочется сказать: "Почему же вы сами не бежите и не ищете своего Сергея?" Но язык мой отказывается выговорить эти слова, и я начинаю бессвязно рассказывать Марине о павшей лошади, которую пожирают люди и собаки под карканье завидующих голодных ворон.

Я возвращаюсь домой, Аля идет со мною:

— Я хочу навестить Миррочку.

Метель стихла. В потеплевшем и успокоенном воздухе медленно падают и крутятся пушистые белые хлопья и целым дождем, но не влажным, отдельные звездочки снежинок.

Снежинки выются и падают на ресницы. Але трудно смотреть. Ее маленькая ручка в моей руке. Она улыбается.

Вдруг она поднимает мою руку к своему лицу и прижимает ее к своим губам.

— Каждый раз, когда я вас вижу, — говорит она вполголоса, — я вижу высокого принца.

— Аля, — отвечаю я, — хотите выйти за меня замуж?

— Этого не может быть, — говорит она.

— Почему?

— Я слишком маленькая.

— А когда вы вырастаете?

— Этого не может быть, — настаивает она

загадочно.

— Но почему же? Она не хочет говорить.

— Потому что я буду тогда слишком старый?

Аля смотрит застенчиво и лукаво.

— Нет, вы, пожалуй, тогда не захотите.

Мы улыбаемся друг другу очень доверчиво и ласково. Снежинки совсем опушили нас, и дома кругом стали красивые и сказочные.

— И потом, — добавляет Аля с большой серьезностью, — вы слишком мало меня знаете. Вы не знаете, какая я в домашнем быту.

Но мы уже пришли в мой Николо-Песковский переулок. Нас угостят сейчас теплой пшенной кашей и даже еще чем-то. Аля щебечет с Миррой, у них свой особенный язык и много-много маленьких важных тайн, больше, чем бывает цветов в саду и птичек в лесу.

Почему, когда столько ласки и нежности в душах человеческих, столько слепой ярости и безумного уродства в человеческих делах? И почему опять за стенами дома завертелась бешеная вьюга — закружились, угашая преждевременно этот короткий зимний день, слепящие белые пелены, белесоватые саваны незрячего снега, который идет, идет без конца?

Не хочу я сидеть дома. Каждый чужой дом лучше, если в душе неизбывная тоска. Я условился с Мариной встретиться вечером на Тверской в Кафе

поэтов. Но до этого слишком долго ждать.

Я помню, я ушел в тот вьюжный день к переводчику "Песни Песней" Эфросу. Мне нравилось время от времени бывать у него. Мне нравилось, что он никогда не говорил тех бесполезных слов о неизбежном, которые так любят говорить русские. Я выносил из каждой беседы с ним освежение, душевный отдых. Я брал у него также французские и итальянские книги по искусству. Их у него всегда было много.

Эфрос напоил меня чаем. Не показывая, что он видит тоску, которая меня истязала, — "лучшее внимание — невнимание", гласит древняя китайская поговорка, — он заговорил мое тоскованье умными словами, такими, которые становятся почти нежными оттого, что они вовремя и у места умны. Он, кроме того, прочел мне свой новый перевод "Плача Иеремии", а прочтя, пропел это волшебное произведение по-древнееврейски.

Эта песня на красивом древнем языке, донесенном благоговейно через несказанно трудные тысячелетия, эта песня-сказ души, эта песня-заговор и пророчество, сливаясь неуловимо с песней зимнего ветра в трубе, исцелила израненное сознание, и когда я шел по улице, простившись с гостеприимным хозяином, мое близкое и личное отошло от меня, но мне казался близким и живым ночной воздух белесоватой зимы, казались

враждебными, но не страшными громады темных домов.

Вот тогда-то, идя по темной Бронной и видя, что свет над Тверской красноват, как зарево далекого пожара, я встретился с той, кого не знаю как назвать и как определить.

На улице не было ни одного прохожего. Никого, кроме меня. Я шел и казался самому себе привидением, идущим по древнему погосту, где когда-то протекла, как широкая полноводная река, замкнутая в цветущие и высокие берега, целая богатая жизнь, с мыслями, красками, песнями, достижениями, дерзаннями необманувшими, улыбками близкими, счастьем высоким и длительным, с верными, до сердца доходившими угаданиями. Протекла, истекла, разлилась, обмелела, иссякла, обнажила безводное дно, раскинула вправо и влево и повсюду песчаную равнину, безжизненное мертвое пространство. И только белое облако вверху, белое как известка, и измятым комком, криво повисшим бельмом белая Луна.

Вдруг как из-под земли, как из воздуха предстала предо мной эта странная женщина. Я не видел, чтобы она вышла откуда-нибудь, я с ней встретился лицом к лицу так сразу, как будто она стояла и ждала меня, незримая, и стала видной, когда я подошел к ней вплоть.

— Дяденька, где мой дом? — спросила она меня, и я похолодел.

Она была одета, как крестьянка, которая собралась в дальний путь. На ней были валенки, длинный темный кафтан, похожий на монашеское одеяние. Голова была укутана в большой теплый платок, и я мгновенно вспомнил обмотки на зябнувших маленьких ногах, которые с хрустом ушли по снегу, и вспомнил, что некоторые убийцы укутывают в простыню голову убитого и что голова того, кому суждено быть повешенным, должна предварительно быть отъединенной от мира, скрытая слепым колпаком.

Я не знал, красиво или некрасиво это лицо, но я знал, что я не могу не смотреть на него и что оно молодое.

— Дяденька, где мой дом? — повторила она голосом, в котором была доверчивость и слышался упрек.

Она произносила все слова так мягко и неясно, как будто не все звуки она могла произносить; что-то младенческое было в этом говоре, точно это был ребенок, который еще не совсем овладел речью. И первое слово у нее выходило "дяинька". Онемев от изумления и еще какого-то другого непонятного мне чувства, я невольно продолжал свой путь, а она, слегка потрагивая меня правой рукой и тотчас же ее

отнимая, пошла совсем рядом и упорно повторяла свой вопрос.

— Я не знаю, — сказал я с беспричинным отчаянием.

— Ты знаешь, — сказала она, и в ее голосе была уверенность. — Ты знаешь, дяденька, он тут совсем близко. Покажи мне, где мой дом.

Ее лицо было странно, но совсем не безумно. И что было не странно в тот час и в том месте, в обезумленном, жестоком городе, где кто-то кого-то убивал и кто-то кому-то улыбался, в этом белесоватом сумраке ночи, под измятым комком белой Луны?

Мы прошли мимо ряда домов. Никого кругом. Ищущая рука тихонько прикасалась к моей и убегала тотчас же. Мне казалось, что мы два лунатика и идем по закраине крыши высокого дома.

— Где мой дом? Где мой дом? — повторяла неведомая, и детская жалоба пробивалась через ее неясственный говор, как через снег пробивается иногда слишком рано зазеленевшая былинка, которая через минуту замерзнет.

— Я не могу тебе помочь, — воскликнул я, схваченный тоской. — Я не знаю.

— Как тебе не стыдно, дяденька, — слышался упрекающий голос, и стыд и указание на пренебреженную ответственность были в этом женском голосе вместе с совершенно детской

доверчивостью.

И, о чем-то сосредоточено подумав, она добавила:

— Ведь он не там, куда ты идешь.

Какой-то вихрь закрутился у меня в голове. К сердцу хлынула горячая волна, и мне стало жутко от того чудовищного желания, которое внезапно возникло во мне. Чудовищное ли? Не святое ли? Я не могу этого теперь определить. Около нас было много домов с открытыми воротами. Мне захотелось — неотступно — привести эту женщину на какой-нибудь двор, сесть с ней рядом на крыльцо и обнять ее. И обнять ее страстно. Самозабвенно.

В эту самую секунду из соседнего двора вышел какой-то человек. Было темно, и я не видел, кто бы это мог быть. Но знала ли она его или не знала, — только немедля, так же, как сразу она подошла ко мне вплоть, сразу, точно меня не было больше на свете, она, отвернувшись от меня, с доверчивостью подбежала к этому человеку и начала что-то быстро говорить ему. Ее говор, неясственный, когда она говорила, идя рядом со мной, на расстоянии этих нескольких шагов стал для меня совершенно невнятным. Вышедший человек, показавшийся мне стариком, тихонько потрепал ее рукой по плечу, и они оба исчезли в темном дворе.

Я постоял с минуту. Я чего-то еще ждал. Все было тихо. Я пошел вперед.

Да, я пришел в Кафе поэтов. Но, увидев меня, Марина всплеснула руками и воскликнула:

— Братик, что с вами?

Я рассказал ей подробно о встрече. Лицо Марины сделалось торжественным, а глаза ее стали как будто смотреть внутрь самих себя.

— Братик, — сказала она, беря меня за руку. — Она должна была к вам прийти. Должна. Ведь это же к вам приходила — Россия.

Июль 1923

Светослужение

Всходящий дым

Всходящий дым уводит душу
В огнепоклоннический храм.
И никогда я не нарушу
Благоговения к кострам.
В страстях всю жизнь мою сжигая,
Иду путем я золотым
И рад, когда, во тьме сверкая,
Огонь возносит легкий дым.
Когда, свиваясь, дым взовьется
Над крышей снежной, из трубы,
Он в синем небе разольется
Благословением судьбы.
Во всем следить нам должно знаки,
Что посылает случай нам,
Чтоб верной поступью во мраке
Идти по скользким крутизнам,
Дымок, рисуя крутояры,
То здесь, то там, слабей, сильнее
Предвозвещает нам пожары
Неумирающих огней.

1936. 4 октября

Но я люблю тебя!

Уж ночь окончилась. Растаял мрак седой.
Туман рассеялся. Исчерпан срок унылый.
И солнца диск взлетел — как сокол золотой...

— Но я Тебя люблю — с невыразимой силой! —

Все ярче светлый день. Стрекозы — над водой —
Мелькают. Каждая — как вестник златокрылый.
За ними — в воздухе — крестом — черта с
чертой...

— Но я Тебя люблю — с невыразимой силой! —

Вот полдень. Высший взлет святыни — век —
младой. —
Задержан солнца ход. Спешит — до Милой —
Милый.
Час — вольный от работ — и суеты пустой...

— Но я — Тебя люблю — с невыразимой
силой! —

И — преломленье дня. Диск солнца золотой —
Еще блаженствует, — еще он златокрылый.
Но это золото — уж с красотой — не той...

— Но я Тебя люблю — с невыразимой силой! —

Часы продвинулись. Чернеет дым густой.
Костром горит закат. Весь север — взят —
могилой.

И залит кровью юг. Восток горит — мечтой...

— Но я Тебя люблю — с невыразимой силой! —

Все ближе к полночи. Над морем — с полнотой
Размаха — взреял вихрь, рокочет, —
громокрылый, —

И зыбь свечения — он сеткой взнес, златой...

— Но я — люблю Тебя — с невыразимой
силой!.. —

Безбрежный океан, — в боренье с темнотой, —
В Утес Молчания — бьет златоклювой вилой...
О, где Ты... не со мной... в Пустыне Золотой?..

— Но — я — люблю — Тебя — с невыразимой —
силой! —

*1936. 23 августа. Преломление дня.
Золотое солнце. У Красного каменного
дуба*

Давно

Давно моя жизнь отзвучала,
Как бурный, гремучий прилив,
Как ласка кружения бала,
Которым я был так счастлив!
Как дальний, чарующий голос,
Чей отзвук, им взятый, я длю.
Как колос, к которому колос
Под ветром лепечет «люблю!».
Куда все они улетели,
Красавицы призрачных дней,
С которыми, словно в метели.
Мы вились быстрее, все быстрее?
Вот, выбрал одну, что желанней,
Из всех, столь желанных моих,
Красивее всех, тонкостанней —
Блаженный слагаю ей стих.
Мой голос подобен свирели,
К горячему льну я плечу...
«Люблю», — прошептал... «Неужели?»
Касаньем ее горячу.
Кружусь все настойчивей, — страстно
Лобзаю чуть зримо в плечо...
«Бежим!» — отвечает мне властно,
Прижалась ко мне горячо.
Взор слился с улыбчивым взором,
Пред нами раскрытая дверь,
А бал упоительным хором
Поет нам: «Любитесь!», «О, верь!»

1936. 26 августа, 11 ч. у. Солнце. Тиаис

Капля

Я заснул средь ночи. Тихо.
Звуков нет. Но в грезе сна
Расцвела в полях гречиха
И цветочек синий льна.
Это таяла сосулька,
Капля звякнула в окно,
И затейница-рогулька,
Чу, вертит веретено.
«Что ж ты спишь? — мне прошептала. —
Выходи встречать весну...
Снега есть еще немало,
Ничего... Иди же... Ну!»
Я пошел мечтою спящей,
Всюду снег и талый лед,
Наст осевший, наст хрустящий,
Льдинка ломкая поет...
В поле я вступил, и звякнул
В прободенный лед сапог...
Дед Мороз, нахмурясь, крикнул:
«Эх, уж пройден мой порог!»
Препоясан опояской,
Крепче он стянул кушак
И растаял белой сказкой,
Льда и снега талый знак...
Много слышал я и видел,
На родную став межу...
Да не будьте уж в обиде,
Я всего не расскажу...
Лишь скажу, что встал немножко

Поздновато ото сна...
Капля звякала в окошко,
Напевая мне: «Весна!»

1936. 15 сентября

Саван тумана

Каркнули хрипло вороны,
Клич — перекличку ведут...
Нет от дождя обороны,
Дымы свой саван плетут...
Листья исполнены страха,
Плачут, что лето прошло...
Ветер примчится с размаха,
Горсть их швырнет, как назло.
Выйти мне в сад невозможно,
Мокрая всюду трава...
В сердце так дымно, тревожно,
Никнет моя голова...
Влажные плачут березы,
Ивы плакучие... Грусть...
В воздухе длинные слезы...
Будет потоп, что ли? Пусть!
Лягу в постель и укрою
Пледом себя с головой...
Если б обняться с тобою,
Друг мой — заветнейший мой!

1936. 16 сентября. 12 ч. д. Седые дымы.

Тиаис

Газель

*Ты видал ли ту, чей взор есть взор
газели,
Кто идет, как лебедь стройная
плывет?*

Калидаса

Каждый новый день с передвиженьем тени
Молча шепчет мне, что я люблю тебя.
Мы живем в тревоге вечных изменений,
Я — как ночь подходит, вновь одну любя.
Может ли что быть утонченно-прекрасней?
Ты идешь, — как лебедь озером плывет.
Ты — волшебный дух, что явлен древней басней,
Ты была пчелой, с цветов сбиравшей мед.
Золотой была осою тонкостанной,
Что в воздушном лёте златопчел стройней,
Образы являла пляски ты нежданной,
Песнею была, что песен всех нежней.
Ты, как свечи леса, взорами газели,
Зажигала страстью нежные глаза,
И лесные духи на лесной свирели
Чаровали бурю, и неслась гроза.
Но, испивши зорь с передвиженьем тени,
Ты мою любовь хотела испытать,
Сделалась тюльпаном — взор искал олений, —
И тебя — как лань — в лесу нашел опять.
Что сравнить дерзнешь с газелью длинноокой?
Тонкие, быть может, грезу — миндали?

Но ресницам, тени взоров нежноокой
Я искал сравнений — мысли не нашли.
Потому всегда, с передвиженьем тени,
Где бы ни был я, с тобой я сердцем вновь,
Страстная меж страстных, в таинствах пленений,
Ты моя одна — бессмертная любовь!

1936. 16 сентября. Тишина

Как мы живем?

*Как мы живем, так и поем, и славим,
И так живем, что нам нельзя не петь.*

Фет

Мы так живем, что с нами вечно слава,
Хмельная кровь, безумствующий бред,
И, может быть, в том жгучая отравы,
Но слаще той отравы в мире нет.

Как мы живем? Взгляни, о мрак лукавый,
Что над тобой? Глубокий синий час.
Там яхонты, не ждущие оправы,
Смарагды, лаллы — все это для нас.

Сам Вседержитель властною десницей
Толкнул и опрокинул россыпь снов,
Затем, что он в ночах, зарницеликий,
Внимать любви вспевающей готов.

И мы поем — о том, что любим рдяно,
Что травы ночью грудим мы в стога,
И песня льется струйкою кальяна,
И океан рокошет в берега.

И так поем, что если б были мертвы,
Мы ожили бы, слыша тот напев,
И кругом лазури распростертый
Богаче стал, от нас поголубев.

Мы так живем в той песне безоглядной,
Мы так взметаем зыбь души в струну,
Что новый — тут и там — светильник жадный,
Прорезав ночь, взлетает в вышину.

И любо нам безумное забвенье,
И любо перелить нам в золото медь,
Любовью звонкой вечность лить в мгновенье,
Сквозь тишину до вышних звезд греметь!

1936. 28 октября. 11 ч. у. Яркое солнце.
Тиаис

Задымленные дали

Я люблю задымленные дали.
Предрассветность, дремлющую тишь.
Озерки, как бы из синей стали,

Ширь и даль, куда ни поглядишь.

Лип высоких ветви вырезные,
Четкие в лазури золотой,
Сети трав, утонченно-сквозные,
Солнца шар, из золота литой.

Я люблю крутые косогоры
В чашечках раскрывшихся цветов,
Свет их цвета, голубые взоры,
Мед их пить душой всегда готов.

Я люблю безмолвное качанье
Цветика к другому, рядом с ним,
Заревое сонное звучанье,
Звук, плывущий тихо за другим.

Эти накопленья, переборы,
Переплески восходящих сил,
Дышат опрокинутые горы,
Слышат хоры вышних звезд-кадил.

Непрерывна творческая пряжа,
Все творят, во сне и наяву,
Червячок, и он, зеленый, даже
Хочет зеленить собой траву.

Многоскатно всюду, многопольно,
Многоцвет сафиров, жемчугов,
Серебро реки всплеснулось вольно,

Волны шепчут сказку берегов.

Я шепчу вослед благословенью,
Чувствую, как силы возросли,
Как, испив рассветное мгновенье,
Дали, дрогнув, манят быть вдали.

1936. 21 ноября